

## НЕОЖИДАННЫЙ ЛИХАЧЕВ

*Беседа Алексея Самойлова с Д. С. Лихачевым*

### ТРИ ЧАСА И ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ. ВЗГЛЯД ИЗ 2006 ГОДА

В последние годы выходят книги, составители которых к имени известного человека добавляют интригующе-завлекательный эпитет «неизвестный».

Чаще всего содержание публикуемых трудов давно и хорошо известно. Однако случаются и подлинные открытия. Так, в частности, произошло с одним из классиков гуманитарной науки XX века Владимиром Яковлевичем Проппом, ушедшим из жизни в 1970 году. Гениальный филолог, крупнейший фольклорист, был еще и тонким знатоком живописи, музыкантом, интересным прозаиком и поэтом, по-толстовски бесстрашным в пристальном рассматривании своей души. Мы узнали об этом благодаря публикациям его дневников, писем, повестей, рассказов и стихотворений в книге «Неизвестный В. Я. Пропп», увидевшей свет в канун 300-летия города на Неве.

О другом выдающемся филологе, рожденном в Петербурге и нашедшем упокоение, как и Пропп, в комаровской земле, — Дмитрию Сергеевиче Лихачеве, написано много и многими, в том числе им самим. В 1995 году, летом которого мы были в гостях у Д. С., в издательстве «Logos» вышел 500-страничный фолиант его «Воспоминаний».

В некотором смысле они полемичны по отношению к мемуарам-дневникам В. Я. Проппа, особенно к «Дневнику старости», зафиксировавшему последние девять лет жизни ученого, родившегося за пять лет до начала XX века. Для Д. С. время в детстве молодое и течет по-молодому — кажется быстрым на коротких дистанциях и медленным на длинных; в старости время вялое, точно останавливается, старость — самый долгий период и самый нудный. Несмотря на сердечные перебои, аритмию, бессонницу и прочие «прелести» стариковского возраста, В. Я. считает, что старость такой же метафизический возраст, как детство; «...да, в семьдесят мое существо не обновляется, как в двадцать, когда была бурная весна и я любил Ксению, — пишет Пропп, — но в старости *живешь* — и это самое главное и важное, отдаваясь течению, душа охвачена горением, пожаром; в старости жизнь продуктивна по-другому, чем когда-то, когда производил новое, — самый процесс жизни может быть продуктивным, в старости *живешь*

сознанием чуда, и все, что имеет прикосновение к чуду, наполняет душу блаженством жизни...».

Дневники Проппа для печати не предназначались. «Воспоминания» Лихачева вышли в свет тиражом 3000 экземпляров. В предисловии Д. С. утверждает: воспоминания писать стоит, чтобы не забылись события, атмосфера прежних лет, а главное, чтобы остался след от людей, которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о которых врут документы. Полагая главным недостатком многих мемуаров самодовольство мемуаристов, Д. С. не считал «таким уж важным мое собственное развитие — развитие моих взглядов и мироощущения; важен здесь не я своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление».

Позиция благородная, но нам, современникам, привыкшим прислушиваться, особенно со времен Перестройки, к реакции ученого на бурный разворот событий, к тому, как он бесстрашно ввязывается в бой ради восстановления попорченной справедливости, уничтожаемой культуры (это в старости-то время вялое?), очень даже интересен Дмитрий Сергеевич собственной персоной, с его страстями и пристрастиями, привычками и интересами, далеко не всегда, в силу воспитания и известной замкнутости натуры, выносимыми на всеобщее обозрение.

Двое питерских литераторов, работавших корреспондентами Петербургского радио и газет обеих столиц, — Николай Крышук и автор этих строк, — одиннадцать лет назад приехали на дачу к Лихачеву. Довольно скоро мы вышли за рамки оговоренной заранее, по телефону, проблематики. Академик оказался в чем-то не совсем таким, а в чем-то совсем не таким, каким его показывали в фильмах и телепередачах, каким он предстал в многочисленных интервью, наконец, каким его облик вырисовывался из его сочинений, в том числе автобиографического характера.

Думается, пора уже начать собирать книгу о неизвестном Лихачеве. Но, может быть, ее лучше назвать «Неожиданный Лихачев». Одной из глав этой книги может стать история нашей поездки в Комарово 24 июля 1995 года. Сама беседа, длившаяся почти три часа (хотя договаривались «на часик»), частично была опубликована в то же лето в газетах «Невское время», «Первое сентября» и передана в эфир радио России и Санкт-Петербурга. В год столетия со дня рождения Дмитрия Сергеевича предлагаем читателям полный, без купюр и редакторских исправлений, текст нашего разговора. Каждый из интервьюеров вел свою тему, но для удобства чтения, мы, как правило, не авторизуем свои вопросы.

Через четыре года после этой встречи Лихачева не стало. Д. С. совсем немного не дожил до девяноста трех...

## ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ИГРАЯ

Комаровский Сусанин, известный литературный критик, человек язвительной доброты Александр Рубашкин, встретившийся нам у железнодорожной платформы, объяснил, как пройти:

— Идите вдоль зеленого забора, потом повернете направо, через полсотни метров еще раз направо, там увидите самую большую в Комарове кучу угля — это главный ориентир, не ошибетесь...

Узнав, как нас сориентировал Рубашкин, Д. С. рассмеялся:

— Большая куча угля? Пощадил меня Саша, пощадил. Хорошо еще «угля» сказал, не чего-нибудь другого...

Смеющийся академик Лихачев, молниеносно отзывающийся на шутку, принял нас в выделенной ему в «академическом» доме квартире.

Дом, где проживают три семьи, вид имеет не самый презентабельный, на роскошные виллы нуворишей ничуть не похож, и слава богу, что не похож, хотя мог бы, наверное, быть покрепче, покомфортнее... Зато стоит вдали от городского шума, сосны до неба, воздух не отравлен выхлопами, разве что от затопленной на веранде, несмотря на июльское тепло, железной печки из трубы тянется дымок. У калитки жасминовый куст, раскидистый, наполовину осыпавшийся, покрывший сосновые иглы на земле белыми лепестками. Между ними снуют муравьи. В папоротнике может спрятаться лихачевская восьмилетняя правнучка. Тут же кусты малины, вдоль дорожек — грибы. На соседней даче петух голос подает, рядом на сосне дятел тюкает. Для полного счастья не хватает озера под окном или речки, тогда это был бы земной рай, где блаженствуют, а стало быть, и играют — во что-нибудь, на чем-нибудь, с кем-нибудь. Впрочем, играют не только в раю. Мой университетский товарищ Лев Лосев написал: «После изгнания из рая / Человек живет играя».

Кстати, игра и привела нас к Дмитрию Сергеевичу.

Николай Крышук, погрузив в созданной им на авторском канале Петербургского радио передаче «Ностальгия, каналья!» над ушедшими, полузабытыми мелодиями довоенных и послевоенных лет, над театром — кафедрой шестидесятых и шестидесятников, дворами детства, над чем-то еще, надумал рассказать об уходе из нашего быта, из перестраивающейся, переворачивающейся жизни самых разных игр — семейных, детских, деревенских, городских — и пригласил погрузить с ним в эфире меня, для которого быстротекущее время давно стало временем игры, о чем я писал в своих книгах. Обсудив проблему, мы решили, что без академика Лихачева в задуманном печаловании не обойтись, потому что он, безусловно, главный эксперт в этой области — и как человек, в соавторстве с А. М. Панченко написавший замечательный труд о смеховой культуре Древней Руси, о скоморохах, шутах, юродивых, и как тот, кто пытается спасти от забвения и исчезновения игру и игры в качестве составляющей части русской и мировой культуры. Вообще-то, придумавшему «Ностальгию, каналья!» на авторском канале нужны были голоса не столько теоретиков, сколько практиков — людей, вволю поигравших в своей жизни, да так и не наигравшихся, недоигравших, таких, скажем, как Виктор Петрович Астафьев, написавший в «Последнем поклоне»: «Теперь-то я знаю: самые счастливые игры — недоигранные, самая чистая любовь — недолюбленная, самые лучшие песни — недопетые... И все-таки грустно, очень грустно и жаль чего-то».

Астафьев был переполнен дрожжевым, бродильным, огненным субстратом. В его книгах это притушено, присыпано пеплом, правда, под пеплом пылает огонь, — а в личном общении он поражал, восхищал своей затейливостью, бесподобным даром баюна-рассказчика, подначистого и печального, остро чувствующего щемящую тоску существования и переплетенную с ней неистребимую тягу жить, продолжаться, воплощаться.

Лихачев представлялся совсем другим. Великий печальник великой культуры, скорбящий о ее умалении, осквернении и оскудении. Лет двадцать назад, на заре Перестройки, во Дворце молодежи проходил творческий вечер Д. С., транслировавшийся по телевидению. Академик не уклонялся ни от каких вопросов, даже от тех, что удобно задавать только себе самому, да и то не всегда: «Верите ли вы в Бога?» или «В чем смысл жизни?». На последний вопрос он ответил по необходимости лаконично:

— Природа создавала человека миллионы лет, давайте же уважать эту работу! Проживем жизнь с достоинством, поддерживая все созидательное и противостояя всему разрушительному, что есть в жизни.

Выяснив, в чем смысл жизни, собравшиеся стали спрашивать ученого, как тот относится к исчезновению традиционных русских игр — лапты, бабок, рюх, то есть городков.

— Беда в том, что исчезают не только русские игры — исчезают игры вообще, — сказал Д. С. — Прискорбно, что у нас не играют или мало играют в лапту, волейбол, горелки... Между тем игра исключительно важна: она воспитывает социальность, в игре люди учатся умению держаться вместе, чувствовать партнера, противника. Человеку не хватает сейчас общения, разнообразных контактов друг с другом. Все это может дать игра. Но она уходит, заменяется танцами или тем, что принято называть танцами. Совсем перестали играть в крокет, лото. Раньше все семейство играло по вечерам в цифровое лото, а сейчас торчит у экрана телевизора... На Севере долгими зимними вечерами вся семья пела. Это вроде бы о другом. Но хоровое пение — это не только эстетика. Оно нравственно объединяет семью. Вообще Русский Север всегда был хранителем замечательных народных традиций, прежде всего трудовых, но и бытовых, и праздничных тоже. Они создавали ритм жизни, сближали людей — не случайно тогда меньше было того, что сейчас называется «закомплексованностью». Жаль, что с оттоком населения из северных районов страны, с обезлюдением их, многие из этих традиций забываются...

Ностальгическим ключиком открываются все сердца, и недаром человек, занятый важнейшей работой и оберегаемый близкими от всевозможных вторжений, тем не менее охотно согласился побеседовать об игре.

У каждого детства свои игры, у каждого времени свой час потехи. Митя, сын инженера-электрика, пошел в школу в первый год Первой мировой войны. Сначала он поступил в гимназию Человеколюбивого общества на Крюковом канале, а в 1915-м перешел в гимназию К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова. Мое поколение село за парты в годы Второй мировой войны. Взросление Мити и его сверстников проходило на фоне военных неудач русской армии в Первой мировой, тяжело ими переживавшихся. Мое и моих сверстников — на фоне взятого Берлина, Победы. «Национальное чувство, — вспоминает Лихачев, — и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с театра военных действий, слухами, надеждами и опасениями».

Мы тоже жили этим — от сводки до сводки Совинформбюро (я и читать выучился в первый год войны по этим сводкам в газетах), чудом выжили под бомбежками, наши матери получали похоронки с фронта, но, поскольку все закончилось Победой, национальное чувство не ущемлялось, а к тому же в очень высокой степени подогревалось официальной пропагандой.

Мы жили известиями с театра военных действий — и игрой, играми. Скажете, кощунственное сближение? Но жизнь сама по себе не бывает кощунственной, в ней всему и всегда есть место...

Вечерами в лихачевском доме обсуждались военные неудачи и неурядицы в правительстве и в армии, говорили про Распутина, появлявшегося в ресторанах и домах, мимо которых часто проходил Митя. А днем гимназисты — русские, немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы (пестрым было население Петербурга-Петрограда, и состав учеников школы Мая, соответственно, тоже) — учились и играли, играли и учились.

— Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и возиться.

Лихачев вспоминает начальные годы века, уютно расположившись в кресла-качалке лицом к окну, к большому, сколоченному из досок письменному столу, на котором пачка бумаги и пишущая машинка с отведенной кареткой — словно замерший перед стартом бегун; старт по нашей вине задерживается, оттягивается...

## ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

— А какой озорной и увлекательной была атмосфера в дешевой дачной местности под Петербургом — Куоккале (ныне Репине. — А. С.). Имена Ильи Репина, Леонида Андреева, Корнея Чуковского, Владимира Короленко, других знаменитых художников, писателей, артистов, живших в Куоккале или только посещавших ее, были для меня живыми и повседневными. Весной мы рано уезжали на дачу, ездили обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция, преимущественно артистическая. Русские были побогаче финнов...

Надо же, подумалось, Репино-Куоккала было когда-то дешевой дачной местностью, русские были побогаче финнов, а теперь как все переменялось, попробуй-ка здесь снять дачу.

— А теперь и дачной жизни нет, — неожиданно говорит Д. С. — Вы обратили внимание, когда шли сюда со станции, как пустыньны комаровские улицы?.. Люди не могут снять дачу, не могут вывезти на природу детей, которым негде играть в огромном городе с его автомобильными потоками, пылью и грязью.

Должен сказать, что игры у нас были не просто детскими, не только детскими, а семейными. Играли — это очень важно — вместе и взрослые и дети. В хорошую погоду почти не уходили с пляжа. Тогда на пляже было огромное количество деревянных будок, где можно было переодеться и в которых мы оставляли шезлонги, весла, купальные костюмы, детские игрушки, удочки. Даже рыбу ловили все вместе — дети, папа, мама, можете себе такое представить? Ведь сейчас рыбалка превратилась для мужчин в отдых от семьи, а тогда была семейным отдыхом.

Утром мы бегали на пляж слушать звон большого колокола Исаакиевского собора. К морю летом уходили на весь день, брали с собой молоко и завтрак. У каждой дачной семьи была своя будка, часто и своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с них прыгали в воду.

Когда солнце садилось, гуляли по берегу, любовались закатом. Почти все были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Взрослые и дети вместе играли в крокет, рюхи, серсо. На даче у Пуни катались на «гигантских шагах». Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали.

В нашей семье было трое мальчиков, считалось, что это маленькая семья, потому что у дедов наших по отцу и матери в каждой семье — больше десяти детей. Вот это были настоящие русские семьи.

— А что делали вечером?

— Сумерничали. Особый час — сумерки. Играли в слова, пели — это и называлось «сумерничать». Сидели без огня: сэкономили керосин.

— Лото, домино?

— Цифровое лото, само собой. Домино знали, но увлечения домино не было. Часто играли с отцом в шашки. Он приедет из города со службы, поест и командует: «Тащи доску!» За карты садились взрослые, детей не приглашали.

У подростков свои забавы, рюхи — игра мальчиков, горелки — мальчиков и девочек. Называлась так потому, что начиналась с песни: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло...» Мальчику надо было догнать девочку. Не по подворотням жались, знакомились в игре. Разные были игры. Деревенская — «в попа-загонялу» (городок на попа ставился); игры вокруг костров... Некоторые касались только детей: палочка-воровочка, скажем, прятки — игра вечерняя, очень азартная, играли в темноте. Играли семьями и семья с семьей. Это была школа общения, школа поведения — кого-то нужно было похвалить, кому-то уступить.

Особенно весело, озорно проходили дни рождения и именин детей. В пиротехническом магазине под Думой на Невском взрослые заранее закупали ки-

тайские фонарики, фейерверки. Фонарики вывешивали в саду, жгли фейерверк. В тот магазин под Думой и террористы ходили.

— А какая из игр детства нравилась вам больше всего? Была ли игра, в которую на дачах играли все?

— Очень красивая игра — серсо. Знаете? Это когда бросают круги шпагами. А самая замечательная — в нее играли все — крокет. Этой игрой полон девятнадцатый век. Она заполняла, очень серьезно, жизни. Это длинная игра. Для нее требовалось четное число участников. Крокет давал хорошую физическую нагрузку, для успеха в этой игре требовалось быть ловким, хитрым и честным.

— Хитрым и честным одновременно?

— Вот именно. Крокет — очень сложная игра со множеством правил, их, кстати, надо непременно записать, только старики вроде меня их еще помнят. Мы уйдем, и, боюсь, совсем перестанут играть в крокет. Из-за того что в крокете было множество правил, он развивал в соревнующихся, я бы сказал, чувство юридической ответственности... Во что только не играл я в детстве и отрочестве — в горелки, лапту, рюхи (сейчас говорят «городки»), гонял на велосипеде. Но крокет ни с чем не сравнить.

— Скажите, Дмитрий Сергеевич, в чем причина исчезновения этих игр? Не в техническом ли прогрессе, не в том ли, что людей не оторвать от телевизоров, компьютеров?..

— И в этом, разумеется, но не только в этом. Пожалуй, причина в гибели какой-то общественной жизни. Ведь не только игры перестали собирать народ. Люди не приглашают друг друга в ресторан, теперь это очень дорогое удовольствие. Ресторанная жизнь прекратилась, остались столовые — быстро поесть, но ресторанная жизнь к этому не сводилась: отмечались праздники, дни рождения, чей-то успех — появление статьи, открытие выставки. Сейчас это называется «презентация» (Лихачев смеется. — А. С.), но на презентациях произносится одна речь, вторая, потом все дружно устремляются к столам. А в ресторане все сидят за столом, провозглашают тосты, люди едят и говорят... Это ведь тоже была игра своего рода. Обычно ходили в ресторан люди холостые, для них ресторан становился вторым домом.

Игра — целая сфера жизни. Дольше всех держались семейные игры. Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый — это очень страшные годы, годы объявленного красного террора. А дома все-таки можно было как-то отдохнуть, поиграть, не бояться даже подслушивания, потому что техника тогда не такая совершенная была, как сейчас. Ходили друг к другу в гости, играли. В пяточок, например. Надо было угадать, у кого под столом в руке находится пяточок. Я со своими детьми играл в пяточок и во время войны, в блокаду. Это вносило, знаете, элемент веселья и уступчивости — надо было уметь уступать друг другу.

## БАБКИ И ДЕТКИ

— В пяточок я не играл, а вот в «чижа», бабки, штандер, казаков-разбойников, чехарду, прятки приходилось. Играли и на дачах, и во дворах. У нас в послевоенном Петрозаводске был большой двор, хватало места и на волейбольную площадку, и на футбольное поле, правда, в половину обычного и без газона. Играли и в Ленинграде в пятидесятые, даже на Марсовом поле в белые ночи в волейбол резались, и в Сибири, на Сахалине, Курильских островах, в центральных областях России, Поволжье, куда приводили журналистские командировки. Во время съемок фильма о народных играх, о национальных видах спорта мне как сценаристу пришлось побывать во многих краях нашей страны (время действия — конец семидесятых) и самолично убедиться: где стол был яств, там гроб стоит.

— Ну уж гроб... Играют же кое-где, про спорт не говорю, он процветает, да и национальные виды спорта у тех же северных народов культивируются, проводятся праздники Севера на Кольском полуострове, в ненецкой тундре. В Бурятии, Калмыкии, насколько мне известно, тоже немало национальных видов спорта сохранилось, та же борьба, к примеру, стрельба из лука. Так что, молодой человек, не надо преувеличивать и пугать. Гроб, скажете тоже...

— Ну, это я для красного словца — чтобы мысль заострить.

— Впрочем, по сути вы правы — вымирают игры, хотя кое-кто у нас еще играет. Так что если и гроб, то с музыкой.

— Вот-вот, и я про то. Там, где играли повсеместно, прежде всего в деревнях, теперь редко где играют в бабки, лапту, городки, другие старинные русские игры. Современная ребятня, как правило, слыхом не слыхивала об этих самых козонках, битках, литках и прочих бабках — «меткой кости», воспетой Пушкиным «русской удалой игре». Ребята из детского спортивного спартаковского лагеря, десяти-двенадцатилетние лыжники и боксеры, отдохавшие и тренировавшиеся под Петрозаводском на берегу Укшезера, в Косалме, неподалеку от могилы выдающегося отечественного лингвиста Фортунатова, в ответ на нашу просьбу перечислить известные им игры назвали великое множество, включая бейсбол, но понятия не имели о бабках. Правда, один, самый шустрый, поинтересовался: «Это деньги, что ли?»

Лихачев рассмеялся, достал платок, вытер слезы.

— Позвольте полюбопытствовать, сколько лет мальчугану?

— Лет десять, может, одиннадцать...

— Хороший мальчик. С развитым чувством юмора.

— Если бы. Он ведь вполне серьезно про бабки сказал.

— Я понял, что серьезно. (Продолжая смеяться, Д. С. опять достал платок. — А. С.) Это смех сквозь слезы.

— А в пионерском лагере под Ленинградом во время съемок мы показали ребятам кубарь...

— Да-да, это юла, ее гоняют кнутиком.

— Вы-то, естественно, знаете, но никто из ребят, включая пионервожатых, не знал, что это за зверь.

— Подозреваю, что кубарь делают сейчас несколько стариков где-нибудь на Вологодчине и в верховьях Волги.

— Да что кубарь... Есть потери обиднее и горше. На фоне Новгородского кремля снимали мы черноволосых японцев в красочных спортивных костюмах с тяжелыми деревянными битами в руках, запуливавших в голубое небо литые мячи. Как водится, когда снимается кино, собираются зеваки и начинают судить да рядить. Снаряжение и костюмы японцев (это были инженеры, монтировавшие оборудование для комбината по производству минеральных удобрений) потомкам Васьки Буслаева, новгородцам студенческого возраста, явно приглянулись, а вот сама игра вызвала иронические усмешки: «Всякий по-своему с ума сходит». «Да это совместный советско-японский фильм снимают. Японские туристы в древнем русском городе играют в свою национальную игру...» Пожилая женщина с тяжелой кошелкой, остановившаяся передохнуть, сказала тихо, словно сама себе: «Какая же это японская игра, когда они в нашу лапту играют...»

— А они играли, небось, в бейсбол, и впрямь похожий на лапту?

— Ну конечно, в бейсбол, ныне одну из самых распространенных спортивных игр на свете, конкурирующих в Соединенных Штатах, на Кубе, в Японии, Южной Корее, Австралии с баскетболом, футболом, волейболом. В бейсбол играют миллионы, а в лапту, даже на ее родине, — несколько сотен человек.

— Александр Иванович Куприн, знаток цирка и спорта, друг первых русских авиаторов и борцов-чемпионов, усердно рекомендовал лапту как игру

азартную и полезную, в которой вырабатывается товарищеская спайка: «своего выручай». У него была превосходная статья о лапте, найдите и прочитайте.

— Уже нашел и прочитал. Где-то была выписка из нее... а, вот она: «В лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и всегда уверенность в том, что тебя не победят».

— Смотрю, вы капитально подготовились к разговору.

— Просто давно этим занимаюсь, и чем дольше, тем скептически отношусь к попыткам оживить ушедшую под воду Атлантиду. Возьмем сравнительно недавнюю историю с возрождением лапты. Такая попытка была предпринята в конце пятидесятых. В 1957 году в кубанской станице Динская были проведены первые в истории нашего спорта официальные соревнования по русской лапте, в 1958-м в Воронеже состоялся первый чемпионат России по лапте, а на следующее лето в Ленинграде так нравившаяся Куприну игра была включена в программу финального турнира Второй летней Спартакиады народов России. Через двадцать лет наша съемочная группа играющих в лапту обнаружила только в Люберцах и в Лесном Городке Одинцовского района Московской области, где директором местной школы Владимиром Михайловичем Григорьевым, убежденным, что игру ни в жизни отдельного человека, ни в жизни человечества не может заменить ничто, и собравшим со своими учениками и последователями три тысячи игр народов нашей страны (из них две тысячи русских игр и забав), был создан Клуб друзей игры. С его легкой руки такие клубы стали возникать при дворцах пионеров и школах Москвы, Тбилиси, Чебоксар, Калинина, подмосковных городов...

— Это замечательно, что, кроме скептиков, нытиков и маловеров (Д. С. улыбнулся, мы тоже, поняв, что это камешек в наш огород. — А. С.), у нас не перевелись еще делатели, энтузиасты, подвижники. Но доведем до логического завершения историю с лаптой. Почему, на ваш взгляд, так и не удалось вернуть к жизни лапту?

Мы и не заметили, как поменялись ролями и начали отвечать на вопросы ученого, словно вытащили на экзамене по фольклору на родном филфаке Ленинградского университета билет с вопросом о русских народных играх и забавах, который я сдавал лютой зимой пятьдесят пятого добрейшему Владимиру Яковлевичу Проппу. Лихачев, однако, не собирался нас экзаменовывать.

(Для людей такой деликатности и интеллигентности, как Д. С. и В. Я., экзаменовывать других и ставить им оценки было мукой — Пропп ставил в матрикул «хор.» только тем, кто не знал о былинах, сказках, плачах, играх ни бельмеса; если же будущий журналист мог назвать имена богатырей русского эпоса — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, профессор немедленно выводил «отлично» и благодарил за внимание к его предмету. Кто из нас знал тогда, спустя всего два года после смерти Сталина, что наш жалкий лепет выслушивает — да еще и благодарит — гений, мировая знаменитость, у себя на родине не получивший ни званий, ни наград, проживший большую часть жизни в сыром полуподвале, а в конце сороковых, в разгар борьбы с «безродными космополитами», сосланный в «подстоличную Сибирь» — Карелию читать лекции студентам Петрозаводского университета.)

Лихачеву действительно был интересен сам предмет разговора, вроде бы совершенно далекий от политики, от злобы дня (мы сразу условились, что политики как борьбы партий, групп и мнений касаться не будем), его ни на минуту не покидала забота-боль о том, что происходит с культурой, бытом, верованиями — и играми, игрой, которая, на что Д. С. все эти годы обращал внимание общества, сближает людей, учит умению держаться вместе, объединяет, если продолжить его мысль, не только живущих сегодня, но все поколения, связует нас с нашими предками, нашей историей.



Прокрутив мысленно все эти доводы, разумеется, хорошо знакомые академику и неоднократно высказанные им самим с самых разных трибун, я сказал, что лапту пытались внедрять теми же методами, что любую другую спортивную игру — иначе и быть не могло, поскольку с самого начала этим занимались спортивные организации.

## НА ФУТБОЛЕ С МАЛЫШЕВЫМ

— Лапта никогда не была просто спортивной игрой. — Д. С. ловит реплику-мяч с ловкостью подростка Мити в предвоенной Куоккале. — Да, как многие другие народные игры, она содержит немало элементов, сближающих ее со спортом, но лапта лишь наполовину спорт, а наполовину это игра самодеятельная, привязанная строго к месту своего рождения и бытования.

— Вот именно, — тут уже я ловлю посланный мне мяч. — Но поскольку лапта стала относиться к спорту — попала в Единую всесоюзную спортивную классификацию, по ней стали проводить официальные соревнования, — она потребовала строгой формализации, выработки единых для всей страны правил. А народная, национальная, самодеятельная игра жива до тех пор, пока сохраняется ее импровизационная свобода, она противится всякой канонизации. В нашем случае был канонизирован один вид лапты (известно же их, по данным В. М. Григорьева как минимум полсотни). Из лапты, по существу, была взята лишь ее схема, а в схему играть не тянет. И, будучи лишенной опоры на неповторимые местные условия, лишенная поддержки «снизу» и в то же время не получившая поддержки «сверху», тех возможностей развития, какие предоставлены у нас так называемому «большому», олимпийскому спорту, лапта — после очень недолгого спортивного ренессанса — снова завяла, зачахла.

— Не с лапты надо было начинать возрождение народных игр, при всем уважении к мнению высококочтимого Александра Ивановича Куприна.

— Мне показалось, Дмитрий Сергеевич, что вы любите лапту.

— Люблю, но начинать надо с того, что легче всего возродить...

— С чего же?

— С городков. Очень физиологичная игра, более статичная, чем лапта, но зато всем доступная, всем слоям общества и всем возрастам. Наш первый Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов обожал ее. Глазомер, твердость руки, характер — все это городки.

— По городкам проводятся чемпионаты страны, так что это не только народная игра, но и спорт... Спорт стал в двадцатом веке увлечением глобального масштаба. Олимпиады и футбольные чемпионаты мира благодаря телевидению смотрят миллиарды, едва ли не половина человечества. А в вашей жизни — студента, аспиранта, профессора (с детством и отрочеством, заполненными играми, мы вроде бы разобрались) — спорт играл важную роль?

— Нет.

— Но хоть за «Зенит»-то болеете?

— О, на этой почве я даже поссорился с Владимиром Ивановичем Малышевым, замечательным ученым, основателем Древлехранилища Пушкинского дома (сейчас Древлехранилище носит имя В. И. Малышева. — А. С.). Владимир Иванович был человек очень интересный, своеобразный, страстный. Тех, кто разделял его страсть, любил и привечал. В любви к миру Древней Руси, ее литературы, искусства мы с ним были едины. А вот его страсти к спорту, особенно футболу, я не разделял. Ну что поделаешь? Сердцу не прикажешь. Не любил я футбол. А он никак не мог смириться с этим. И вот, желая снять напряжение в нашей дружбе, я сам попросил его повести меня на какой-нибудь матч на Кировский стадион. Он охотно согласился, и мы поехали на Крестовский ост-

ров, купили билеты, пришли на трибуну, сели, судья дал свисток, и интеллигентнейший Владимир Иванович, как только мяч попадал к «нашим» и приближался к воротам «ненаших», вскакивал, кричал, размахивал руками, бурно волновался...

— А вы?

— Я не реагировал. Все происходящее на поле меня совершенно не задевало.

— И как к этому отнесся ваш коллега и друг?

— Он начал меня дергать: «Кричи! Кричи! Почему ты сидишь и молчишь? Ты же на футболе!» Второй раз я на футбол уже не пошел, а у Малышева наметился холодок в отношениях со мной. Наверное, он подумал, что я его осуждаю. Наоборот, я им восторгался, но футбольное зрелище, футбольная игра меня не заводили.

— Значит ли это, что вы относитесь к спорту негативно? Приветствуете ли вы, как большинство горожан, — согласно социологическим опросам — попытку Санкт-Петербурга побороться за право провести летние Олимпийские игры 2004 года в нашем городе или входите в меньшинство, считающее затею несвоевременной и прожектерской?

— У меня еще не сформировалась позиция относительно Олимпиады в Петербурге. То, что происходило в Москве в восьмидесятом, было очень важным, потому что развивало дух межнациональной дружбы и согласия среди молодежи мира. Но я категорически против того, чтобы выводили особую чемпионскую элиту, как разводят элитных животных — коров, быков, овец, свиней, дающих рекордные надои, привесы и т. д. и т. п., чтобы развитие спорта шло у нас только по линии создания чемпионов и рекордсменов. Надо в первую очередь думать об оздоровлении нации с помощью массового спорта, физической культуры. Это должна быть всесторонне разработанная программа на годы и десятилетия.

## ОКСФОРДСКИЙ ПРОФЕССОР ПУШКИНСКОГО ДОМА

Начали с осанны крокету и лапте, а завершили филиппиками в адрес футбола и большого спорта, заполонившего телевизионные каналы. И все же, как ни крути, человечество давно и прочно подсело на футбольную иглу. А крокет для нас, наших детей и внуков — из того же ряда, что клавесин, менуэт, что-то элегически-ностальгическое. Не живая игра, а история и литература. Чеширский кот спрашивает Алису: «Ты играешь сегодня в крокет у Королевы?», а девочка отвечает: «Мне бы очень хотелось, но меня еще не приглашали». Кстати, академическая «Алиса в Стране чудес» вышла в издательстве «Наука», в серии «Литературные памятники», которую курировал Д. С. Лихачев.

Никогда не подумал бы, не съездив в июле девяносто пятого в Комарово, что в нашем маститом исследователе литературы так много от сочинителя «Алисы», оксфордского профессора математики Чарлза Лютвиджа Доджсона (Льюис Кэрролл — литературный псевдоним), — стремления к беспечной, легкомысленной, на свой лад вполне бессмысленной игре, скрытого озорства, веселья, юмора. К слову, Д. С. тоже имеет почетную степень оксфордского профессора. Когда преемники Доджсона вручали Лихачеву соответствующие регалии, петербургский ученый понял, что они относятся к торжественным церемониям как к карнавалу.

— Мы представляем эти процессии как крестный ход, не иначе, а у англичан они — дело веселое. Помню, мы с ректором университета в Оксфорде перед вручением разговаривали очень весело. Но во время самой церемонии он смотрел на меня эдак мрачновато из-под шапочки с кисточкой, а потом, после торжественного ритуала, опять был веселым, смеялся над тем, как чопорно он

себя вел, как стесненно я держался... Иностранцам и людям искусства англичане охотно прощают нарушения этикета. Вот были мы с дочерью Людмилой (она научный сотрудник Русского музея) в мае в Англии по приглашению принца Уэльского на его экологически чистой ферме. И принц Филипп никакого внимания на нарушения этикета не обращал. Не умела дочка сделать реверанс, какой полагается, и не сделала. Ничего, принц и бровью не повел. Когда кто-то сказал: «Your Royal Majesty»\*, он поправил: «His Royal Majesty»\*\*, но поправил с улыбкой...

Пожалуй, к Дмитрию Сергеевичу в полной мере приложима и та характеристика, которую дал Кэрроллу-Доджсону Гилберт Кийт Честертон: «Лишь у его разума бывают каникулы; чувства его каникул никогда не знали; и уж, конечно, не знала их и его совесть. Возможно, совесть эта была вполне традиционной, но его моральные принципы, назовем ли мы их традиционными установками или твердыми убеждениями, нельзя было не то чтобы поколебать, но даже хотя бы слегка сдвинуть или пошелохнуть».

Доджсон, между прочим, был членом ученого совета колледжа Крайст Чёрч, который все называли не иначе как «Домом». Дмитрий Сергеевич большую часть своей жизни тоже имеет отношение к «Дому» — Пушкинскому. Так надо ли удивляться, что научный сотрудник Дома, носящего «веселое, легкое имя» Пушкина, при личном знакомстве оказался совсем не суровым наставником юношества, гуру просвещенной интеллигенции, чеховским учителем латыни с зонтиком и в галошах, скучно-правильным миссионером классики, а человеком легким, веселым, чувствующим себя своим среди чужих — английских ученых, джентльменов, аристократов.

Впрочем, чужих в культуре не бывает, во всяком случае, в европейской, и мы, считает петербургский филолог, должны осознать себя как европейцы, поскольку не только русские, по Достоевскому, «всечеловеки», европейская культура, разъясняет Лихачев, вмещает в себя и восточную и античную.

С удивления, учили эллинские мудрецы, начинаются и поэзия, и философия. Мы видим, сколько любопытства в светло-голубых глазах Д. С., когда что-то кажется ему занимательным, с какой линнеевской дотошностью он, гуманитарий широкого профиля, просвещает нас относительно небывалого комариного засилья в Комарове нынешним летом («Лягушки повывелись, некому теперь личинки комаров поедать, а лягушки исчезли, потому что радиационный фон повысился»), с каким юмором и иронией рассказывает он о людях игры, сколько в этом большом ученом пренебрежения к так называемой «серьезности»...

Не переставший удивляться чуду и тайне жизни человек не устает расти, написал как-то Виктор Шкловский; тоже, кстати, игрок первостатейный (играют ведь не только мячиками и шайбами, но и смыслами, аналогиями, метафорами). В реальном училище Шкловского, отца одного из создателей ОПОЯЗа, преподавал отец Лихачева... такие вот сближения, ничуть, впрочем, не странные: мир вообще тесен, а мир культуры един.

Старая как мир проблема: как под грузом лет сохранить веру в подлинность игры, потребность в игре, стремление и способность ей время от времени полностью отдаваться, выходить из нее освеженным и готовым к дальнейшим поискам?

Лихачева она волнует давно — и как азартного человека (азарт — душа игры), и как исследователя смеховой культуры Древней Руси. Эта проблема занимает любого человека. Особенно человека творческого. Да и что значит «творческо-

\* «Ваше Королевское Величество» (англ.)

\*\* «Его Королевское Величество» (англ.)

го»? Людей нетворческих не бывает. Творят ведь и Пеле, Роналдинью, Кержаков, Аршавин на футбольном поле, и неистовствующие фанаты — бразильская торсида, болельщики «Зенита», гонящие по трибунам «волну», подключенные к высоковольтной сети выстраивающихся комбинаций, прорывов, ударов. Творит и автор «Анны Карениной», и я, его читатель, прикоснувшийся к вечному источнику человеческого гения. Толстой, как и Пушкин, страсть к игре считал одной из главных человеческих страстей и говорил, что, когда из любви уходит игра, любовь скисает, как молоко в грозу.

Но игра, увы, уходит — из любви, из жизни отдельного индивидуума. Игры, к великому огорчению, покидают и нашу общую жизнь, и часто мы не в силах удержать, реставрировать, возродить их. Что касается ослабления игрового начала души, тут все зависит от тебя — поддашься ли ты напору времени, утратишь ли способность пользоваться собой как инструментом познания или будешь следовать завету древнегреческого философа Хилона — «Старею, всегда учась», для чего надо сохранить неистребимую любознательность и главный молодильный фермент — детскость души...

## ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ СВОБОДЫ

Расшифровывая магнитофонную запись беседы, удивляемся своему удивлению. Неожиданный Лихачев — во всякие игры поигравший (мы-то думали, его печаль об играх сугубо головного, теоретического свойства) и явно не доигравший — что же здесь удивительного?!

Конечно, кто умножает познание, умножает скорбь. Мудрость — сестра печали, и скорбны лики российских мудрецов. И не только мудрецов. Андрей Битов как-то сказал мне: «Мы живем в ужасно серьезной стране».

Но в ужасно серьезной стране мудрецы с печальными, хмурыми лицами обороняли свободу, между прочим, и на редутах юмора — от Гоголя до Зощенко, от Чехова до Ильфа с Петровым, от Щедрина до Булгакова, от Крылова до Жванецкого. В предисловии к книге прозы Михаила Жванецкого Битов написал: «Юмор — последний оплот свободы, последний шаг отступления. Утратить его — значит сдать. Сохранить — перейти в наступление. Сказать остроумно — уже выжить, уже спастись».

Мудрость в родстве и с печалью и с юмором, остроумием — тем, что немецкий писатель конца XVIII и первой четверти XIX века, создатель «Приготовительной школы эстетики» Жан-Поль определял как «Witz», способность ведать, фрагментарную гениальность, умение пронизательного ума включиться в универсальную игру смыслов в мире, молниеносно соединять одни значения с другими, самыми отдаленными...

— Этой игрой смыслов и в поэзии, и в своих ядовитых критических статьях, и в жизни превосходно владел Корней Чуковский. Недаром к нему тянулись дети, самые гениальные игроки на свете, — от двух до пяти и старше. Мне запомнился телевизионный фильм «Огневой вы человек», где вы, Дмитрий Сергеевич, говорите о Чуковском как о человеке игры...

— Говорят, Корней Иванович все время играл. Может быть. И, знаете, часто благодаря этому добивался того, чего хотел, за что хлопотал. Однажды Чуковскому нужно было похлопотать о приеме на работу знакомой девушки. Он поступил так: вошел в кабинет ученого секретаря Отделения языка и литературы Академии наук СССР, бухнулся на колени и — молчит. Выдержал паузу и изложил свое дело. Ясно, что его ходатайство нельзя было не удовлетворить. Он часто бросался на колени. Эта сцена описана Ираклием Андрониковым, тоже

любившим игры... А самодельный альбом, альманах «Чукоккала», в котором первым начал сотрудничать Репин, нарисовавший для нее «Бурлаков в Пенатах», сотни страниц, заполненных рисунками, стихами знаменитых русских художников, поэтов, композиторов, артистов? А праздники для детей с кострами в Переделкине? А всевозможные розыгрыши?.. Корней Иванович играл естественно, как дышал, играл постоянно, но никогда не был скован своей ролью. Его игра — все эти озорные мистификации, веселье, шутки, экспромты — была детская. Чуковский не боялся жить. Обычно это редко кому удается. Многие ведь живут так, словно находятся в прихожей и им еще куда-то предстоит пройти.

— А много ли вы встречали людей, для которых игровое поведение было столь же естественным, натуральным, как для Чуковского?

— Оно было довольно распространено. Из этого игрового поведения вырос Ремизов...

— Обезьяний царь Асыка — Алексей Ремизов...

— Да, Обезьянья Великая и Вольная палата. В ней, придуманной удивительным писателем Алексеем Ремизовым, состояли Кузмин, Блок, Гржебин, Шкловский. В своей маленькой квартире в Париже Ремизов навешал чертей, куколок...

— И, как Шкловский, короткохвостый обезьяненок ремизовской палаты, поведал в «Зоо, или Письмах не о любви», Алексей Михайлович сидел под этими чертями и шипел на всех: «Тише! Хозяйка!» — и предостерегающе поднимал палец; он не боится хозяйки, замечает Шкловский, он играет.

— Такое игровое начало было и у Репина. Потому Репин и любил Чуковского. И будучи сам убежденным реалистом, он покровительствовал авангардистам Пунину, Кульбину, Анненкову, Маяковскому. Он их очень любил. Репин воспринимал авангардистов как озорников, людей играющих, а их искусство как игровое, несерьезное. Серьезным искусством для него был реализм. У него происходило раздвоение между его убеждениями художника-реалиста и практикой тяготеющего к игре человека. Он сам ведь что устроил в Пенатах, в своем саду, полном башенок, мостиков, лабиринтов, беседок?.. Там была, кажется, гора Парнас, а на вершине ее... уборная. Внутри, в доме, конечно, была уборная, но хозяину Пенат было интересно созорничать: наверху можно было сидеть и наблюдать, как гуси в пруду плавают... Это и есть игровое начало. Игровое начало проявлялось у Горького, когда он жил на даче на мызе Лентулла, — костры жег и любил всевозможных оригиналов, чудаков.

— Мы озорничаем, юродствуем, играем, чтобы быть свободными, а когда свобода, которую мы жаждали, приходит, выясняется, что мы боимся и не готовы ее принять.

— Да, мы чувствуем себя как канарейка, которую выпустили из клетки, и она стремится назад, в эту клетку.

— Интересна еще одна особенность, — продолжает Д. С. тему игрового поведения человека в России. — С конца девятнадцатого века, может быть, с Толстого, да нет, раньше, со славянофилов, каждый писатель, каждый общественный деятель придумывал себе свою одежду. Ведь это же маскарад. Это маскарадное начало очень сильно выражено у Ахматовой. В «Поэме без героя» действие происходит в маскараде, в смене пластов — действительности, маскарадности, какого-то бала, каких-то туманов и так далее... Горький создавал себе одежду. Ремизов создавал себе какой-то образ и одежду, Леонид Андреев, Саша Черный одевались по-своему...

— А Кузмин, а Клюев, а Маяковский, а Блок...

— Блок тоже... Единственный человек, который не стремился создать свою одежду, сказал я как-то Бялому, был Чехов. «Как же, — запротестовал Григо-

рий Абрамович, — Чехов одевался как доктор». И действительно, я понял, он одевался как доктор. У меня есть визитная карточка Антона Павловича, снимок с нее, и там написано: «Чехов, доктор». И больше ничего, никаких упоминаний о профессии писателя, литератора.

— А в вашей профессии — филолога, культуролога, литературоведа — какое место занимает игра?

— В литературоведении много идет от игры. Придумываются концепции, которые явно не соответствуют действительности, но эти концепции позволяют от нее оттолкнуться и прийти к истине. Озорных концепций очень много. Это особенно присуще Тартуской школе. Представления Лотмана, скажем, о древнерусской литературе были искаженными; не было в ней противопоставления чести и славы, в том виде, как Лотман представлял. Но его озорная концепция позволила выяснить настоящее значение чести и славы в Древней Руси. Можно было от чего-то оттолкнуться, понимаете?..

То же самое «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца — Андрея Синявского. Это же игра. Неужели он будет настаивать на всем том, что он в этих «прогулках» сказал? Это совершенно невозможно. Терц — Синявский разозлил людей, лишенных чувства юмора.

— Но ведь ежику комаровскому ясно, каким ключом открывать дверь в эту книжечку, антипафосную, очищающую иронией «наше все» от елея пошлых, потерявших смысл славословий. Вот он — ключ, гоголевский из «Ревизора», эпиграф к «Прогулкам с Пушкиным»: «Бывало, часто говорю ему: «Ну, что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает бывало, так как-то все...» Большой оригинал».

— Ежу, может, и ясно, а вот людям звериной серьезности, обвинившим автора в антипатриотизме, русофобии, осквернении национальных святынь, не ясно. Тех же, кто дал себе труд понять замысел автора, он заставил задуматься и решать проблему, может быть, иначе, чем он, но поставлена была проблема им, Терцем — Синявским.

## НАЦИИ СЕРЬЕЗНЫЕ, СУРОВЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ

— Применительно к отдельным людям все более или менее ясно: у одних абсолютное чувство юмора, смешного, другие в этом отношении непрошибаемы, кто-то человек игрового склада, артист в жизни, кто-то основателен, строг, серьезен и ходит в мундире, застегнутом на все пуговицы. А можно ли говорить, что у одних народов, наций, этносов игровое начало ярко выражено, у других ослаблено? Мы, русские, россияне, какие в этом плане? И как вы, Дмитрий Сергеевич, относитесь к разделению наций на ужасно серьезные (русские, россияне), просто серьезные (британцы), суровые (испанцы) и веселые (итальянцы, французы). Сия классификация принадлежит педантичному, как все немцы, и остроумному Жан-Полю. Доказывая, что необходимейшее условие шутки есть серьезность и что плодоносно только прививание шутки к серьезному, немецкий эстетик на примере истории мировой литературы показал, что у серьезных наций более высокое и проникновенное чувство комического, что суровые испанцы создали больше комедий, чем вместе взятые весельчаки — французы и итальянцы, а мрачная Ирландия подарила миру таких знатоков смеха, как Свифт и Стерн.

— Андрей Битов правильно сказал про нашу ужасно серьезную страну. Но она не всегда была такой. Игровое начало у нас как у народа, как у культуры было, но уничтожалось революцией. Но наши представления о том, что порча

пошла с семнадцатого года, неверны. Порча пошла с четырнадцатого, когда началась подготовка к войне. Большевики пришли с очень серьезными лицами. Всякая шутка возбуждала подозрение. В моей молодости в Ленинграде у нас была Космическая академия наук — шуточные, веселые науки, доклады на парадоксальные темы. Я, скажем, подготовил доклад о возвращении старой русской орфографии, но не успел его прочесть, нас арестовали, это было 8 февраля 1928 года, несколько месяцев держали в тюрьме в Ленинграде, потом отправили на Соловки, в лагерь. На Соловках я познакомился с племянником писателя Короленко — Владимиром Юлиановичем. Не знаю, как он кончил, — у него был десятилетний срок. У нас были постоянные пропуска на выход из кремля. Мы шли с ним на берег моря и «пекли блины» — бросали в воду плоские камни, надо было изловчиться и метнуть камень так, чтобы он сделал как можно больше прыжков-скачков, «блинов». Я этому выучился еще в Куоккале, где очень ловко «пекли блины» Короленко-старший, Владимир Галлактионович, и Корней Иванович Чуковский.

Теперь о народах игрового склада... Я как-то разговаривал в одном лондонском клубе с сэром Исайей Берлиным, другом Ахматовой. Мы разговаривали с ним о евреях — он сам еврей и английский сэр, — об одесситах и одесской культуре. Берлин высказал мысль, что одесская культура — это средиземноморская культура. Она располагала к уличной жизни с многочисленными кафе, к общению, к легкости знакомства... У северных народов знакомство, особенно мужчины с дамой, очень затруднено. А в Одессе все это много легче: средиземноморская культура. Берлин говорил, что живущие в Скандинавии евреи не понимают одесситов, для них южане совсем другой народ. Это не национальная черта, а, я бы сказал, черта климата, южный климат располагает к игре, легкости, общительности — так, как располагает дачная жизнь. Все это вообще-то было бы интересно специально изучить. Словом, на мой взгляд, нет народов более игровых, менее игровых. Есть климат игровой, есть способствующие всему этому условия...

Юмор и игра позволяют народам сблизиться, лучше понимать друг друга. Прежде всего, это связано с уличной жизнью. Она должна обязательно расцвести и в нашем городе. Я понимаю, климат у нас не совсем средиземноморский, но два-три месяца в году и у нас вполне может идти прекрасная уличная жизнь. Сейчас Петербург — мрачный город. Да, я всегда настаиваю, что он самый красивый, лучший в мире, но мог бы, будучи зеленым, со множеством скверов, парков, стать еще и более веселым. И люди, его населяющие, тогда, может быть, повеселеют. А то ведь мы мрачные и очень серьезные. Нас такими семьдесят прошедших лет воспитали, идея мировой революции и всякие глупости, которыми были заполнены наши головы.

## ТВОРЧЕСКИЙ ХАОС

Беседа ветвится, как жасминовый куст у забора лихачевской дачи. Начали с безобидной, аполитичной игры, вырулили к мировой революции, не оставляя же неохваченной мировую культуру.

— Дмитрий Сергеевич, если немного расширить наш разговор... Не только игры исчезают, очень многое меняется в культуре в связи с появлением того же телевидения (кстати, любимые передачи академика — информационные выпуски и дроздовская «В мире животных». — А. С.), с утратой массового интереса к печатному слову. Теряются ремесла, музыка уходит из концертных залов, становится сопровождением нашего быта... К тому же все мы склонны к сим-

волизации, а на дворе конец века, конец тысячелетия — неужели мы подходим к этим рубежам с одним ущербом? Или все-таки культура и жизнь переходят в новое качество?

— Само собой, что на смену культуре девятнадцатого века должна прийти новая культура. Но переход от одной культуры к другой часто совершается через хаос, разрушение старой культуры при еще недостаточно выросшей новой культуре. Сейчас мы живем как раз в такой период. Я не верю, что все у нас идет под гору. Мы находимся в периоде творческого, что ли, хаоса. И нам нужно искать новые формы, в частности, новые формы спорта, игр, вообще жизни. Так, как сейчас, жизнь не может продолжаться. Ведь все семьи отъединены, рассыпаются, количество разводов чрезвычайно выросло, а детей рождается все меньше. От детей люди ждут радости, они же не думают, что дети будут их в старости кормить, что внуки пойдут. Это приятно — иметь детей, радостно. Значит, нужно развивать жизнь семейную, чтобы она была, как раньше, дружной, веселой...

К людям с серьезными лицами академик относится без особой симпатии. Об одном из них, недавно утвержденном в высокой должности, сказал: «Он человек серьезный, очень серьезный. Как все безнравственные люди».

### В ЧЕМ СПАСЕНИЕ?

Давно пора перестать мучить занятого пожилого человека, согласившегося побеседовать только об игре, исключительно об игре, ни о чем другом, как об игре... Но уйти из этого дома, от собеседника, умеющего охватывать мысленным взором века и страны с высоты своих лет и мировой культуры, уйти, не выяснив, что нас — страну, цивилизацию, культуру — спасет (вопрос этот представляется нам более существенным, нежели «что делать?» и «кто виноват?»), выше наших сил.

Д. С., полуприкрыв уставшие глаза — разговор продолжается почти три часа, а до нашего прихода он, несмотря на нездоровье (простыл, бронхит), полдня работал, — выслушивает обзор путей спасения погрязшего в грехах человечества, возможные апокалиптические сценарии развития событий в нашей стране и на планете Земля, согласно которым человеческое может полностью улетучиться из человека и он молчаливо воссоединится с животным миром.

— Итак, в чем же наше спасение? В распластанной базаровской лягушке, в чем видел обновление русского народа Дмитрий Писарев? В живой, социально могущественной религии не личностей, а народов, в чем видел единственный шанс Георгий Федотов? В способности людей к самоуглублению, в погружении в глубины своей души, на чем настаивал Ортега-и-Гассет, напоминавший, сколь многим человечество обязано нескольким великим актам самоуглубления — Будды, Магомета, Иисуса? А может, как полагает выдающийся ученый-античник Александр Иосифович Зайцев, ваш, Дмитрий Сергеевич, сподвижник по петербургскому Фонду культуры, руководитель независимого института «Классика», все пути спасения в конечном счете упираются в образование, и действительно необходим новый, четвертый по счету, всемирный культурный переворот в истории?..

— Для меня самое важное не образование, а воспитание. Школа должна и образование давать в воспитательных целях. Культура требует образования, но самое важное в ней — воспитание человека. Должен сказать, что мы находимся под пятой экономики. Наше правительство и так называемый парламент толь-



ко и говорят о возрождении экономики, о законах для экономики. Между тем все должно начинаться с культуры. Культура — начало всего. И первая строка в различных финансовых планах властей должна принадлежать культуре. А сейчас культура у нас на последнем месте.

— Вместо предусмотренных законом двух процентов от бюджета, сказал недавно министр культуры России Евгений Сидоров, культуре запланировали на нынешний год менее одного процента. Но даже и этих денег она не получает в полном объеме. Дело доходит до абсурда. В Министерстве образования отключили за неуплату все телефоны. Так что, боюсь, с помощью образования и культуры нам не спастись, их самих в пору спасать.

— Вот именно. У нас все еще господствует марксистская формула: бытие, в данном случае экономика, определяет сознание, в данном случае культуру. На самом-то деле культура определяет экономику. Если у нас будет большая культура, то уменьшится количество преступлений, улучшатся взаимоотношения людей, власти не смогут делать такие ошибки, как в Афганистане и Чечне.

— Осталось узнать про начатую вами работу...

Очень спокойно, просто Лихачев говорит:

— Я не могу сейчас начинать больших работ. Потому что не знаю, успею ли их закончить. Поэтому пишу маленькие. Моя новая маленькая работа, которой я придаю большое значение, — Декларация прав культуры. Мне нужна помощь юристов, жду приезда юриста из Парижа. Если мэр Собчак согласится эту декларацию от нашего города провозгласить, если мы обратимся с этим документом, основные принципы которого я пытаюсь сформулировать, в ЮНЕСКО, если ее подпишут страны мира, подобно Декларации прав человека, то Санкт-Петербург в какой-то мере станет центром нового культурного движения.

\* \* \*

Веселые люди обычно люди отважные. Они не боятся ни неволи, ни свободы. Правда, вернувшись из Соловецкого лагеря, Лихачев испугался. Не справился с велосипедом, когда на большой скорости свернул с Дворцового моста, а тут началось движение, и если бы не искусство шофера, то разбился бы... А до этого, в Тихвине, в тридцать втором году, попал под лошадь с беговыми дрожками — сам упал в песок, а лошадь переехала через его велосипед. Ударился грудью, но не испугался: лошадь — живое существо, не машина. На учениях, особенно во время атаки, по словам академика, кавалеристы нередко падали, целый конный полк проходил над упавшими, и они оставались целыми и невредимыми. «Таково, — резюмирует Лихачев, — хорошее отношение лошадей к людям».

В лихачевском доме нет прихожей, где можно было бы отсидеться, переждать жизнь. Прямо из комнаты-веранды мы выходим на крыльцо.

О, эта старинная учтивость, исчезнувшая раньше и невозвратимее крокета, серсо, лапты и прочих игр: академик провожает нас кратчайшим путем («Возможно, его даже Саша Рубашкин не знает») к дороге на станцию. Пытаясь проехать между штакетником и нашей троицей, юная велосипедистка чуть не задевает рулем Лихачева, но он не сердится. Внучка, говорит нам, художница, репинскую академию окончила, Федора Абрамова иллюстрирует, по абрамовским архангельским местам ездила...

В бежевом, в клеточку пиджаке, в клетчатой шотландке-ковбойке, в темно-желтых штиблетах на толстой подошве, он похож на английского джентльмена, одетого, на континентальный вкус, несколько экстравагантно, — должно быть, любителя темного пива и крокета. Если бы его пригласили на крокет к Короле-

ве (помните диалог Алисы и Чеширского кота?), он, в отличие от нас, хорошо бы знал, как прогнать деревянный шар ударами молотка через ряд проволочных ворот.

На развилке лесной тропки и дороги к станции мы прощаемся. Его улыбка, вполне по Кэрроллу, еще долго парит в прогретом солнцем воздухе Комарова...

*Июль—август 1995 г. — май—июнь 2006 г.*